

STATEMENT OF OWNERSHIP, MANAGEMENT AND CIRCULATION

(Act of August 12, 1970: Section 3685, Title 39, United States Code)

1. Title of Publication—The New Review.
2. Date of Filing—Sept. 28, 71.
3. Frequency of issue—Quarterly (March, June, September, December).
4. Location of known office of publication—2700 Broadway, New York, N. Y. 10025.

5. Location of the headquarters or general business offices of the publishers—2700 Broadway, New York, N.Y. 10025.

6. Names and addresses of publisher, editor, and managing editor—Publisher, The New Review Incorp. 2700 Broadway, New York, N.Y. 10025; Editor, Roman Goul, 506 West 113-th Street, New York, N.Y. 10025; Managing editor, Roman Goul, 506 West 113-th Street, New York, N.Y. 10025.

7. Owner (If owned by a corporation, its name and address must be stated and also immediately thereunder the names and addresses of stockholders owning or holding 1 percent or more of total amount of stock. If not owned by a corporation, the names and addresses of the individual owners must be given. If owned by a partnership or other unincorporated firm, its name and address, as well as that of each individual must be given.)

The New Review Inc. No stocks. 2700 Broadway, New York, N.Y. 10025; Alexis Goldenweiser, President 523 West 112-th Street, New York, 10025; Zoya Yurieff, Secretary 46-04, 196-th Street Flushing, N.Y. 11358; David Shub, Treasurer 355, 8th Ave., New York, N.Y. 10001.

8. Known bondholders, mortgagees, and other security holders owning or holding 1 percent or more of total amount of bonds, mortgages or other securities.—None.

9. For optional completion by publishers mailing at the regular rates (Section 132.121, Postal Service Manual).

39 U. S. C. 3626 provides in pertinent part: "No person who would have been entitled to mail matter under former section 4359 of this title shall mail such matter at the rates provided under this subsection unless he files annually with the Postal Service a written request for permission to mail matter at such rates."

In accordance with the provisions of this statute, I hereby request permission to mail the publication named in Item 1 at the reduced postage rates presently authorized by 39 U. S. C. 3626.

(Signature and title of editor, publisher, business manager, or owner).—Roman Goul, Editor.

10. For completion by nonprofit organizations authorized to mail at special rates (Section 132.122, Postal Manual).

The purpose, function, and nonprofit status of this organization and the exempt status for Federal income tax purposes.—Have not changed during preceding 12 months.

11. Extent and nature of circulation	Average No. of copies each issue during preceding 12 months	Actual number of copies of single issue published nearest to filling date
A. Total No. copies printed (Net Press Run)	1600	1600
B. Paid circulation		
1. Sales through dealers and carriers, street vendors and counter sales	380	369
2. Mail Subscriptions	1188	1180
C. Total paid circulation	1568	1549
D. Free distribution by mail, carrier or other means		
1. Samples, complimentary, and other free copies	20	20
2. Copies distributed to news agents, but not sold	—	—
E. Total distribution (Sum of C and D)	1588	1569
F. Office use, left-over, unaccounted, spoiled after printing	12	31
G. Total (Sum of E & F—should equal net press run shown in A)	1600	1600

I certify that the statements made by me above are correct and complete.
(Signature of editor, publisher, business manager, or owner)—Roman Goul, Ed.

THE NEW REVIEW НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатели — М. Алданов и М. Цетлин — 1942

С 1946 по 1959 редактор М. Карнович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

Тридцатый год издания

Кн. 105

НЬЮ ИОРК

1971

журналов — «Современника», «Русского Вестника», «Русского Слова», «Отечественных Записок». Все журналы, по словам молодого Достоевского в 1847 г., были единодушно против гоголевской «Переписки с друзьями», поэтому пародия на «переписку» могла быть хорошо принята в этих редакциях и в то же время никак не могла задеть цензуру.

«Село Степанчиково» — русская вариация на мольеровского «Тартюфа»; параллели бросаются в глаза даже при поверхностном чтении: Фома — Тартюф, генеральша — г-жа Пернель, Ростанев — Оргон, Дамис и Эльвира — племянник и Настенька готовят падение Фомы, даже Бахчеев похож на Клеанта. Только религиозной темы — ханжества — почти нет в повести Достоевского, а если есть в словах Фомы, то уже в стиле «переписки» Гоголя; нет и романтической интриги Тартюфа. Другими словами, Достоевский обогащает и «русифицирует» Тартюфа гоголевским материалом, включая также иногда и свои мысли, напр. в словах Ростанева о том, «что вдвое надо быть деликатнее с человеком, которого одолжаешь» (Достоевский знал, что значит быть должником!). Он пародирует и личность Гоголя и его внешность, пользуется выражениями и образами из «Мертвых душ», но при всем этом *Фома — не Гоголь*, ведь сам Достоевский подчerkнул, когда хотел вывести в «Жизни великого грешника» Чаадаева, Пушкина, Белинского и др.: «Ведь у меня же не Чаадаев, я только беру этот тип». Тьянянов по этому поводу замечает: «И мы не можем поручиться, не было бы пародийной окраски и в рисовке Пушкина», а ведь Пушкин то был «Богом» для Достоевского.

Н. В. Первушин

ПАДЕНИЕ РОСТОВА

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Эти заметки я начал набрасывать, будучи еще в оккупированном немцами Ростове на Дону. Я старался записывать, главным образом, только то, чему сам был свидетелем. Поэтому записи мои не могут претендовать на законченную картину того времени, скорее всего это отрывки, из которых было бы рискованно делать какие-либо определенные обобщения.

Как русскому человеку, патриоту, ничего не знавшему о Третьем Рейхе, мне казалось (первое время только), что немецкая армия представляла из себя единственно-возможную силу, способную сокрушить коммунистическую империю. Я сотрудничал с немцами и считал, что я выполняю свой национально-патриотический долг.

Свободный мир вел смертельную борьбу с Гитлером. В этом мире была свободная пресса и он отлично знал звериный оскал гитлеризма. Всякий человек, живший в свободном мире (француз, бельгиец, голландец, датчанин, норвежец), сотрудничавший с немцами — подлежит осуждению. Они боролись против своей родины, коллаборируя с врагом.

Другое дело, мне кажется, у нас. Мы были слепы как кроты. За что мы могли бороться? За сохранение концлагерей, за массовые аресты и расстрелы, за голодное, рабское существование? За то, чтоб мы умирали за Сталина, залившего кровью необъятные просторы нашей родины?

Сначала я верил немцам, но скоро пришло и разочарование.

Думаю, что недалеко то время, когда беспристрастный историк смоет грязную краску, которую многие в свободном мире, вкупе с коммунистами, с завидным усердием размазывали по русским «коллаборантам», единственной мечтой которых было освобождение России от человеконенавистнической власти. Я говорю здесь о подлинных русских патриотах, включая, конечно, и все национальности, проживавшие на

территории Советского Союза. Говорить же о шкурниках, продававшихся немцам ради корыстных целей, ставших палачами собственного народа, вряд ли стоит.

1

Не могу объяснить себе, почему у меня явилось желание записывать некоторые события из своей жизни: возможно, что это успокаивало меня, возможно, что у меня была внутренняя потребность осмыслить все происходящее и дать ему свою оценку.

Я хочу начать свои записки с того, по-моему знаменательного дня, когда в столице Северного Кавказа советская власть прекратила свое существование.

К приходу немцев, значительная часть населения Ростова оставалась на месте: одни не хотели уезжать, теряя последнее имущество, приобретенное трудом всей своей жизни, другие строили оптимистические планы, полагая, что вряд ли на свете найдется власть хуже советской, третьи, наконец, просто боялись ехать в неизвестность. Паническое отступление советских армий, массовая сдача в плен, свидетельствовавшие о нежелании подсоветских людей, одетых в военную форму, защищать большевистский режим, смотревших на немцев, как на освободителей от этого режима, — вызывали у власти имущих полную растерянность. Так, например, выдача эвакуационных разрешений была начата в Ростове только тогда, когда положение города было безнадежным и бумаги эти были никому не нужны. Единственная дорога для отступления вела через Дон, причем переправляться через реку нужно было собственными средствами: или на лодке или вплавь. Лодок, увы, не было. Немцы знали место переправы и бомбили его и днем и ночью. Оно имело вид своеобразного кладбища, где покойники были обезображены, где бранные останки их никто не собирался погребать и где, наконец, их трупы, разорванные на части, были как будто специально приготовлены на съедение голодным собакам.

2

В городе царил безвластие: были случаи бессмысленных расстрелов совершенно невинных людей на улицах и в квартирах.

Мы решили спрятаться на складе табачной фабрики, которая также была и бомбоубежищем. Проникнуть в него не составляло труда: моя жена, работавшая на фабрике, часто провожала маму и меня на склад во время немецких налетов. Старенький сторож, у входа, хорошо помнил покойного Ириноного отца, человека, по его мнению, на редкость хорошего, знал Иру, когда она была еще девочкой. Открывая дверь, он говорил нам сочувственно:

— Проходите в тот дальний угол и сидите тихо, там никто не найдет вас. Не попадайтесь только на глаза дежурному, он у телефона.

Мы спрятались среди тюков прессованного табака, сложенного почти до самого потолка: было душно от пыли и ноги ныли от неудобного положения тела. Огромный склад с железно-бетонными перекрытиями, хранивший табачные сокровища фабрики, не был освещен. Дежурный мирно спал, склонив голову у телефона.

Поздно вечером, с шумом распахнулась дверь, вошли какие-то люди. Они прошли к дежурному, зажгли небольшую электрическую лампочку, окрашенную в синий маскировочный цвет и постояли немного, почти не разговаривая. Телефон был соединен с «дозорной вышкой», где дежурили комсомолки, передававшие донесения о движении немецких самолетов. Зазвонил телефон и до нас донесся приглушенный, властный голос, привыкший, очевидно, приказывать, нетерпеливо повторявший:

— Что? Да говори же громче! Ага, понимаю, понимаю...

Неожиданно мы услышали пронзительно-поющий свист падающей бомбы — привычный для нас, как звонок почтальона — после чего раздался оглушительный взрыв. Никто не мог понять, куда попала бомба, но телефонная связь оборвалась и лампочка погасла. Около стола началась беспокойная суета: тихо стоявшие люди, вдруг задвигались и зашумели. Кто-то зажег свечку, осветившую небольшое пространство вокруг стола, и теперь мы могли разглядеть, что там происходило. Военные срывали с себя форму, поспешно переодевались в штатское и, по одиночке, пробирались к выходу. Последним ушел человек с коптящим огарком. Гася его наслю-

нявленным пальцем (привычным, видимо для него, жестом), он громко крикнул в пустоту:

— Эй, выходи, если кто здесь остался! Через несколько минут склад будет взорван!

Мы не шелохнулись и гнетущая тишина воцарилась в наступившей темноте.

Подождали еще несколько минут, стараясь, по мере наших сил, сохранять спокойствие. В конце концов, Ира не выдержала:

— Пойдем, не могу больше! Что будет, то будет!

Мы пробрались к полуоткрытой двери, мерцавшей где-то вдаль. С улицы потянул слабый ветерок, насыщенный гарью и дымом. Огромные языки пламени, вырывавшиеся из-под сводов горячей фабрики, освещали путь к нашему дому, находившемуся, к счастью, в нескольких кварталах от нашего убежища. Было трудно идти по улице, засыпанной стеклом, камнями, кирпичами и мебелью, выброшенной из квартир.

Против нашего дома был снесен целый квартал: густой, черный дым поднимался из-под груды обломков, будто это был исполинский, плохо потушенный костер. Дом, примыкавший к нашему, был пробит прямым попаданием: остался только остов с окнами, похожими на выколотые глаза. В одном из них, жалобно мяукала кошка, запутавшаяся в тюлевую занавеску. Наш старенький домик — остался невредим.

Мы спустились в подвал, имевший деревянное крепление пятидесятилетней давности, повалились на каменный пол, покрытый густым слоем пыли, и заснули. Разорвавшаяся совсем рядом бомба, разбудила нас. Многолетняя пыль, поднимавшаяся с пола, застилала весь подвал: она резала глаза, проникала в рот, затрудняла дыхание. Я протянул руку к жене лежавшей почти без сознания и, желая хоть немножко успокоить ее, сказал:

— Ирочка, не бойся! Следующая бомба, по теории вероятности, не может попасть в то же место!

В этот момент, как бы в насмешку над моими словами, раздался второй взрыв. Вырванные из мостовой бульжники ударили в нашу стену: дом зашатался, покачнулся на сторону, с потолка полетела штукатурка. Но мы остались невредимы.

Ростов стал «ничьим городом» — с одной стороны бомбили его немцы, с другой — советские.

Несколько дней мы просидели в подвале. В одну из долгих ночей, совсем уже под утро, неожиданно наступила мертвая тишина. Слышно было только, как муха жужжала в паутине.

Внезапно раздался крик какого-то мальчишки, пробежавшего мимо:

— Немцы в городе!

Мы перекрестились и заснули крепким, непробудным сном.

3

В Ростове не было ни света, ни воды. Без света можно было жить, но как без воды? Дон был рядом, но принести воду было не легко. Сначала надо было проделать утомительный путь со спуском и подъемом по крутой, изрытой снарядами, улице. Затем найти место, где можно было бы зачерпнуть ведром более или менее чистую воду.

Картина, когда-то красивого «Тихого Дона» была неприглядна: по широкой поверхности реки плыли куски дерева, собаки, кошки, обломки вещей, мусор, наконец, взбухшие и разлагавшиеся трупы. Весь этот груз проплывал неторопливо, погруженный в причудливые узоры из нефти, красок, масла и мазута, вылитых из «неприкосновенного запаса» прибрежных фабрик.

Вода из Дона, после кипячения, имела кислотоватый привкус: но ее приходилось пить, так как другой не было.

Я занимался приведением в порядок нашей квартиры, но работа не клеилась и руки были в крови. Жена не хотела отрываться от этого, малополезного дела и решила сходить за водой сама. Когда она вернулась и бросила пустые ведра на пол, я заметил ее взволнованный вид и заплаканные глаза.

— Что случилось? — спросил я.

Она долго не могла говорить и успокоиться. Наконец рассказала мне голосом, полным обиды:

— Мне удалось набрать хорошей, совсем чистой воды. Я дошла почти что до нашего дома. Неожиданно ко мне подошел немецкий солдат и, довольно вежливо, попросил напиться. Я протянула ему одно ведро, другое поставила около себя. Он сделал вид, будто бы отхлебнул немножко, затем, посмотрев на меня с усмешкой, опрокинул его и вода залила

мне и платье и ноги. Отбросив ведро далеко от себя, он перевернул ногой второе, сказав с наглостью: «Спустишь, красавица, еще раз к Дону, тебе будет это полезно». Потом повернулся и спокойно, как ни в чем, пошел своей дорожкой.

4

В мертвом городе впервые затеплилась жизнь на базаре, расположенном около большого собора с высокой колокольней. Советы — уже во время войны пытались взорвать его. По их «авторитетному разъяснению» — колокольня являлась ориентиром для немецких самолетов. Попытка не удалась: после взрыва собор не шелохнулся, хотя кое-где и были вырваны двери и оконные рамы.

Около этого величественного храма, служившего долгие годы местом молитв, теперь кощунственно поруганного, живописно раскинулся базар. Продуктов было маловато, но другие товары были в изобилии: здесь продавались залатанные ботинки, подержанная одежда, тарелки с отбитыми краями, заржавленные замки без ключей, красивые рамки с выцветшими фотографиями прошлого столетия, будильники с вырванными пружинами, надтреснутые стаканы, погнутые вилки и ложки, ведра с запаянными дырами и тому подобное.

Думаю, что здесь был представлен ценнейший ассортимент, характеризующий наше советское время. Мы знали, что немцы не препятствовали свободной торговле. Из чувства любопытства, я и Ира прошли к базару и остановились с широко открытыми глазами. Какая-то немецкая воинская часть, совсем как на войне, оцепила молниеносным рейдом бушующее море человеческих голов, пришедших или поглазеть на базар или чем-нибудь поживиться. Откуда-то появились три грузовика, в которые, с помощью прикладов и зуботычин, загонялись неудачливые торговцы, вместе с покупателями. Перепуганные обыватели, помятые и пораненные, понятия не имели, какую судьбу готовила им новая власть. Как потом выяснилось, черт, в этом случае, был не так страшен — просто это были жертвы, так оригинально проводимой трудовой повинности.

Мы наблюдали всю эту сцену и чувство возмущения наполняло нас.

5

Ростов медленно залечивал свои раны. Население, по собственной инициативе, разбирало баррикады, приводило в порядок улицы, убирало камни и всякий мусор, починяло, как могло, свои пострадавшие жилища. Около разрушенных домов на главной улице стояли большие, совсем непохожие на наши, немецкие автомобили-грузовики. Солдаты, сидя в кузовах машин, — мылись, брились, здесь же чистили свои мундиры, обувь, переговариваясь на странно звучащем в русском городе иностранном языке.

Немецкий солдат был не похож на красноармейца: он был чисто выбрит, сыт, носил хорошо-сшитую форму и крепкую обувь. У офицеров, одетых всегда с иголочки, были нарядные фуражки с серебряными орлами, кое у кого красовались на груди черные, на подобие мальтийских, кресты.

Солдаты и офицеры шутили с девушками, не понимавшими немецкого языка, подтрунивали над старушками, без любопытства рассматривали оставшееся мужское население, объезжались на пальцах с обывателями, если хотели что-нибудь узнать.

Я не мог среди этих военных людей обнаружить враждебного отношения к населению и не мог понять того, что так недавно случилось на базаре: здесь на улицах, они были такими же людьми, как и мы, только не голодными и хорошо одетыми.

Большевики, уничтожившие громадные запасы продовольствия, предназначенного для армии, не успели, однако, истребить все: кое-что еще оставалось. Голодное население, вооруженное мешками, ведрами, кошелками и «авоськами» запряжало брошенные на произвол судьбы магазины, лавки, «закрытые распределители» и склады; в них происходили битвы из-за коробки зубного порошка, сухой горчицы, желудёвого кофе или соли. Были счастливы, которым удавалось неизвестно откуда достать сахару, муки, сыру или масла: но это были только единицы.

Запасов у нас не было, если не считать нескольких фунтов муки и мешочка пшена. Как-то, рано утром, соседка пришла с ведром патоки. Мы услышали ее громкий крик через окно:

— Немцы патоку раздают! Бегите скорей на кондитерскую фабрику!

Я схватил два ведра и мигом был у места раздачи, бывшего совсем недалеко от нас. Действительно, посреди двора стояли металлические бочки с патокой. На одну из них взобрался немецкий солдат, дирижировавший стоявшей вокруг него толпой. Немца никто не понимал, но жесты его были выразительны: он указывал на бочку, люди вскрывали ее, затем зачерпывали коричневую, густую жидкость чайниками, кувшинами, банками, ведрами и, со счастливыми лицами, пробирались обратно. Пройти к бочке невозможно — всякий отставал право на получение своей доли, имевшей сейчас ценность, может быть, нескольких дней жизни. Я пробовал пробиться через этот, поистине, железный обруч, но задача была мне не по силам. Я жалел, что пришел сюда и хотел уже уходить, как внезапно у меня мелькнула мысль крикнуть по-немецки.

— Можно и мне немножко взять?

Немец удивленно повернул голову, пораженный словами, произнесенными на его родном языке. Физиономия его расплылась в улыбку, он сделал движение рукою, означавшее, что нужно освободить проход. В немце люди видели представителя новой власти и покорно расступились. Я набрал два полных ведра и, с торжествующим видом, стал продвигаться назад. Вся моя одежда была вымазана, брюки и рубашка липли к телу, мои единственные парусиновые туфли намокли. Я нес колыхающиеся ведра, они касались меня своими краями, и патока выплескивалась, стекая по ногам.

Когда я вошел в комнату и поставил ведра на пол, лицо Ирочки выражало два, совершенно противоположных, чувства: испуг от моего действительно ужасного вида и радость от удачно выполненной задачи.

6

Несколько дней подряд немцы демонстрировали свои достижения в военной технике. Через город проходили моторизованные войска — неуклюжие и тяжелые танки, броневики, различного рода артиллерия, двигавшаяся на прицепах или гусеницах, вырывавшая асфальт из мостовой. Вся эта, громылавшая и лязгавшая металлом коллона, сопровождалась под-

вижной пехотой, следовавшей на мотоциклетах, службой связи, саперами и другими вспомогательными войсками. Немцы поражали техникой, организованностью, порядком, дисциплиной, слаженностью частей огромного военного механизма.

— Вот это армия! — с восхищением и тайной завистью говорили жители, делая грустное сравнение со своей армией — плохо экипированной и недостаточно оснащенной техникой. Невольно думалось: куда же с ними тягаться!

Однажды мы наблюдали иную картину — проходили другие войска, никогда нами не виданные. Сначала двигались альпийские части. Солдаты шли пешком, повидимому, только через город. Они были одеты в «виндяки» — куртки, служившие надежной защитой против дождя, снега и холода, в ботинки, подбитые железными шипами; на головах были небольшие шлемы, поверх которых поблескивали очки-консервы с темными стеклами, предохранявшими глаза от ультра-фиолетовых лучей. Рядом, неторопливо тащились ишаки — эти бесценные «горные лошадки», нагруженные рюк-заками, ледорубами, альпийским троссом, палатками и техническим снаряжением, необходимым для передвижения войск по скалам и ледникам. Ишаки немецких войск, похожие на наших кавказских, были в горах незаменимы; они отличались силою, выносливостью, могли довольствоваться скудной травой, растущей на каменистых склонах гор и свободно проходить по узким тропинкам, вьющимся над головокругительными пропастями.

По городу пронесся слух, что руководителем этой группы был альпинист с мировым именем, до войны бывавший на Кавказе, прекрасно изучивший рельеф местности, знакомый с горными перевалами и заранее подготовивший маршрут для продвижения немецких частей.

Когда альпийские части прошли, появился небольшой конный отряд — и нашему изумлению не было пределов — это были казаки!

Они пели по-русски хорошо знакомую всем песню:

Взвейтесь, соколы, орлами,
Полно горе горевать,
То-ли дело под шатрами,
В поле лагерем стоять!

Казачьи ехали на конях в казачьей форме с лампасами, с открытыми и загорелыми лицами, с винтовками за плечами и пиками. Кое у кого были нацеплены георгиевские кресты. Казалось, они спешили добраться до своих родных станиц.

Женщины вздыхали, крестились, в глазах у многих стояли слезы: это ехали свои русские люди, настрадавшиеся на чужбине и возвращавшиеся теперь к родным, давно покинутым очагам.

7

За время войны советская печать ни словом не обмолвилась о судьбе евреев: в газетах помещались только пространные отчеты о зверствах, совершенных немцами на оккупированной территории. Беженцы, хлынувшие на восток, не допускались в большие города. Их везли прямым сообщением в Сибирь. Но кое-какие слухи о расправе над евреями достигали и Ростова. Обычно, они передавались осторожно и под большим секретом: население отлично знало, что распространение слухов каралось по законам военного времени. Власти понимали, что слухи вызывают панику и, главное, компрометируют советское правительство.

У меня было много приятелей среди евреев, работавших в разных учреждениях города. У них, даже до самого последнего времени, когда Ростов был уже обречен, не было панического настроения: они думали, как и многие другие, — мало ли какие слухи ходили? Немцев никто не боялся и в ужасы, творимые ими, плохо верилось.

В городе осталась значительная часть еврейского населения. Выехали только те, кто работал на фабриках или в учреждениях, подлежащих эвакуации. Это было, конечно, каплей в море для такого большого города как Ростов.

С занятием города немцами, евреям было предложено выбрать комитет, ведавший их делами. Комитет расположился в бывшем Парамоновском особняке. Вскоре было выпущено воззвание — «Ко всем евреям города», где объявлялось, что немецкое правительство намерено переселить их на новое местожительство и, что поэтому они должны явиться в определенный день и час на вокзал для отправки, имея при себе не больше двух чемоданов с вещами. Воззвание было расклеено по всему городу.

Трудно забыть то ясное, ростовское утро, в которое происходил этот массовый исход еврейского населения. Евреев вывозили на грузовиках, но многие из них предпочитали идти пешком. По главной магистрали города — Садовой улице, — выходящей к вокзалу, длинной лентой тянулись люди, нагруженные тяжелыми вещами.

Вот идут — старик, белый как лунь, с бородою патриарха, опираясь на толстую палку, а рядом с ним такая же старушка, с морщинистым лицом. Идут под руку, еле передвигая ноги: видно, что идти им трудно. Может-быть они уже давно не ходили, а были прикованы к кроватям и единственной радостью у них было воспоминание о своей семье. Сзади — немного поодаль — девочка лет четырнадцати тянула увесистые, купленные еще в «проклятое, царское время» кожаные чемоданы. Вероятно, это была их внучка: она выбилась из сил, по лицу ее струился пот: никогда не носила она таких тяжестей!

Евреи тихо шли по середине широкой улице. Лица их были спокойны: нельзя было прочесть в них ни испуга, ни страха, ни отчаяния. По бокам стояли растерянные горожане. Нигде не было слышно разговоров — стояла напряженная и тягостная тишина.

8

Однажды ранним утром, мы были разбужены громкой музыкой, раздававшейся где-то недалеко от нас. Вздвораженные, мы выбежали на главную улицу, куда со всех сторон стекался народ.

Около памятника Ленина, сбитого со своего пьедестала и валявшегося с обломанной головой, немецкая машина, на которой помещалось радио с большим, похожим на громадную граммофонную трубу, репродуктором. Вокруг расположилась огромная толпа с интересом слушавшая «заморскую музыку». Из рупора неслись бравурные звуки немецких маршей, популярных песен и танцев.

Неожиданно музыка оборвалась и в репродукторе что-то зашипело. Немец посмотрел на часы, что-то передвинул и мы услышали голос, говоривший на чисто русском языке. Переход был настолько внезапен, что люди буквально застыли на месте. Трудно сначала было понять, где мы слышали раньше этот знакомый, нудный, бесстрастный, как у евнуха, голос.

«Говорит Москва», — и после небольшой паузы, — «От советского информбюро». Мы с любопытством слушали длиннейший обзор событий на фронте, с массой ненужных, совершенно несущественных подробностей. Не ясно было только одно, — а где же, собственно, проходит сейчас фронт? Наконец, диктор заговорил и о нас: «На подступах к Ростову идут ожесточенные бои, противник несет тяжелые потери, захвачено столько то пленных» и т.д.

Жители Ростова, слушавшие эту передачу в самом центре взятого города, заулыбались, кое где послышался смех, выражение лиц, казалось, говорило: вот вам и советская информация — есть ли здесь, хотя бы доля правды?

Немцы торжествовали — первый наглядный урок для населения.

9

Фронт уходил все дальше и дальше. Немецкие войска занимали Краснодар и Майкоп и продвигались на юг, вглубь Кавказа. На востоке они подходили уже к Сталинграду. Прекратились бомбардировки, наводившие ужас на население, перестали летать над городом советские самолеты. Немецких войск стало заметно меньше.

Ростов, казалось, забыл о войне и началась нормальная, мирная жизнь. Советская власть, где-то далеко от нас, корчилась в предсмертных судорогах. Никто не жалел о ней; она была символом горя, страдания, бедности, голода, страха, тюрьмы.

Немцы открывали учреждения, обслуживавшие армию и, вместе с тем, начали организацию городского самоуправления. Сначала было учреждено главное бургоминистерство, затем районные отделения. При бургоминистерствах появились отделы, без которых не могла идти нормальная жизнь: жилищный, финансовый, здравоохранения, народного образования и т.д. Начали работать больницы, начальные школы, столовые, кафе и рестораны, починочные мастерские и комиссионные магазины, где продавались старые вещи. Только с продовольствием было трудно.

Требовались люди. Немцы создали Биржу труда («Арбайтсамт») помещавшуюся в здании бывшего Госбанка, на улице Ф. Энгельса, которая теперь называлась по старому —

Садовая улица. Сначала жители неохотно шли на работу к немцам. Но нужда заставляла: почти у каждого была семья и только работа давала возможность рассчитывать на получение пайка. Но это было только в начале. Потом потянулись к Бирже все — и беспартийные, и комсомольцы, и члены коммунистической партии, скрывая, конечно, свою партийную принадлежность. Не думаю, чтобы последние занимались каким-либо вредительством. Нет, они работали честно, выполняя все то, что им приказывали. Работа, для большинства населения, была вопросом жизни.

10

Вчера у меня была необычайная встреча. Если бы мне сказали, что я увижу Нину К., я держал бы пари на что угодно, что это невероятно, невысказано.

Ко мне пришла молодая женщина с красивыми, немножко суровыми чертами лица. В прошлом — она была секретарем партийной организации в учреждении, где я работал. Мы знали ее, как твердокаменную коммунистку, принимавшую активное участие в разоблачении «врагов народа». После моего ареста она выступала на всех собраниях нашего учреждения, называя меня «врагом народа», «змеей подкольной», скрывшей на время свое жало», и требовала применения ко мне высшей меры наказания. Когда, перед самой войной, меня выпустили, она отворачивалась при встречах со мною.

Сейчас она сидела в моей комнате — похудевшая, осунувшаяся, с бледным, безжизненным лицом и опущенной головой. Она не знала, как начать разговор.

— Ты знаешь, что я член партии. — У коммунистов было принято разговаривать со всеми на «ты».

— Мой муж коммунист, политрук, с первых дней войны в армии, на фронте. У меня двое маленьких детей. — Голос ее пересекся. — Вчера дети мои доели последние крохи хлеба. Сама, не помню уже когда ела...

Она помолчала немного и голос ее слегка дрогнул:

— За прошлое извини и не суди строго. Ты сам знаешь, что я не могла поступать иначе. — Она волновалась и говорить ей было трудно. — Я пришла к тебе за советом. Что мне делать?! От меня сейчас отвернулись все. Мне не к кому обратиться.

Я молчал: мне нечего было советовать. Предложить идти на работу к немцам я не мог. Не хотел брать греха на душу. В конце-концов, кто-нибудь мог донести на нее. Немцы арестовывали коммунистов и доносы процветали, как и в старое, советское время.

Видя, что я молчу, она заплакала. Сейчас это была несчастная и беспомощная женщина, брошенная на произвол судьбы: вся коммунистическая позолота с нее слезла. Я принес воды и старался успокоить ее. Она продолжала плакать и, наконец, сказала с горечью:

— Идти к немцам работать?! А что скажет муж, если вернется с войны?

Мне было искренне жаль ее.

— Если бы у меня был хлеб, я дал бы тебе последний кусок. Но веришь, у меня такое же положение. Может-быть, завтра я пойду искать работу?

Я дал ей банку патоки и лицо ее просветлело.

— Спасибо, я никогда этого не забуду.

Через несколько дней я встретил ее на улице: она работала в «Виртшафтсамт» — в немецком хозяйственном управлении.

11

Запасы наши кончились. Я сидел с Ирой и молча пил фруктовый чай. Мама, еще с раннего утра, ушла на базар, взяв с собою для продажи старый оренбургский платок. Вскоре, она вернулась, бросив сверток, завернутый в газету, и устало опустила на стул.

Мне было не по себе. Я смотрел на Иру и на маму — они голодали, но я не слышал ни одного слова упрека. Чувство стыда поднималось во мне: я даже не искал работу.

Я направился, прежде всего в «Арбайтсамт» — на Биржу Труда. Это здание было мне хорошо знакомо: сколько раз получал я здесь деньги? На маленьких окошечках были вывешаны надписи: плотники, столяры, стекольщики, каменщики, электро-монтеры, механики и, наконец, интеллигентные профессии. В некоторых местах стояли небольшие очереди, у последнего окна было пусто. Я подошел.

— Могу ли я найти какую-нибудь работу?

Девушка с прозрачным личиком и вздернутым носиком, сидевшая за окошечком, равнодушно протянула руку и сказала только одно слово:

— Паспорт.

Я передал маленькую книжку, без которой жизнь в Советском Союзе была невозможна. Девушка что-то долго рассматривала в ней. Ее внимание было напряжено, как будто она решала трудную задачу. Наконец, она спросила:

— Почему у вас, в графе национальность, стоит «русский»? Фамилия у вас немецкая?

Я пожал плечами и недовольно ответил:

— Никогда немцем не был!

Она не торопясь вернула мне паспорт и указала рукой на второй этаж. Там было отделение для «русских немцев». Делать было нечего, я поднялся и вошел в большую комнату, где за столом сидела седая дама, со строгим лицом, и что-то писала. Я подошел к столу и остановился. Дама продолжала писать, не обращая на меня никакого внимания. Я подождал немного, затем кашлянул. Она подняла голову и посмотрела на меня.

— Что вам нужно? — спросила она крайне неприветливо на немецком языке. Не знаю почему, но я отвечал ей по-русски. Рассказал, что случилось и положил свой паспорт перед нею на стол.

Она ничего не ответила и принялась изучать мой «вид на жительство» так же, как это было внизу. Дойдя до графы «национальность», она побагровела и с нескрываемым презрением прошипела:

— Почему русский, почему русский?

Я ответил, что не мог считать себя немцем, если ряд поколений моих предков, были русскими. Она написала маленькую записку, вложила ее в конверт с адресом и передала мне, вместе с паспортом.

— Идите с этим письмом в «С.С.», там решат, что с вами делать!

Я медлил, не понимал, что означали таинственные буквы и, что это вообще за учреждение. Она отмахнулась рукою и ушла в соседнюю комнату, хлопнув дверью.

12

Идти было далеко — учреждение помещалось на границе Ростова и Нахичевани. Я шел через мертвый город, пострадавший, казалось, от недавнего землетрясения, в котором, каким-то чудом, сохранилась одна пульсирующая артерия — Садовая улица. По ней двигались немецкие грузовики, тяжелые танки и маленькие «фольксвагены». В конце улицы стоял построенный в форме трактора, новый ростовский театр. Стены его были облицованы мрамором, снятым с могил городских кладбищ. Над входом были два больших барельефа, работы молодого ростовского скульптора Вучетича. Театр был разграблен, с кресел содран дорогой сафьян, из которого сейчас продавались дамские туфли.

Я поднялся на второй этаж, по адресу моего таинственного учреждения и вошел в кабинет, где царил полумрак от спущенных штор. Над письменным столом висел портрет Гитлера, на диване было небрежно брошено дамское платье и стояли туфли, со стоптанными, высокими каблуками.

Мне не пришлось долго ждать. Вскоре дверь отворилась и вошел офицер, в расстегнутом кителе. Видно было, что он только что встал с постели: волосы его были взъерошены, глаза сонные, хлодные и немного опухшие.

Я протянул письмо. Он жестом пригласил меня сесть, неторопливо закурил сигарету и сказал мне по-немецки:

— Покажите ваш паспорт!

Он бегло просмотрел его, потом молча отложил в сторону, прочел письмо и начал задавать мне бесконечные анкетные вопросы. Попутно он делал у себя в блокноте заметки. Его заинтересовал мой арест, допросы, тюрьмы, в которых я сидел, обращение с заключенными и, наконец, были ли пытки? Все, что я говорил, казалось ему важным. Его утомил этот долгий разговор. Он снова закурил и позвонил куда-то по телефону. Мне неудобно было прислушиваться и я отвернулся. Затем, он обратился ко мне:

— У меня есть для вас работа. Я направлю вас, в качестве переводчика, к генералу К. Правда, генералу совсем не нужен переводчик — у него есть свой. Но у его адъютанта, капитана Ш., бывают бумаги, которые нужно переводить на русский. Работы там мало. Я сейчас об этом говорил капитану.

Сделав небольшую паузу, он прибавил:

— А вы знаете, кто такой генерал К.?

Я пожал плечами. Он был крайне удивлен и сказал, акцентируя каждое слово:

— Генерал К. — комендант города Ростова и командующий войсками этого района! — Казалось, что спокойствие его было нарушено. Неожиданно, он вскочил и закричал на меня громко и запальчиво:

— Знаете ли вы, почему вы на свободе, а не расстреляны в НКВД? Наш фюрер велел Сталину выпустить всех немцев! Вы неблагодарны, вы забыли свою великую родину — Германию — и превратились в какого-то русского!!

Его обуревал безудержный гнев. Я молчал.

13

Когда я входил в комендатуру, у меня подламывались ноги и силы мои подходили к концу.

Адъютант, капитан Ш., сидел в большом, светлом, сверкающем чистотой кабинете, с аккуратно расставленной мебелью. На стенах висели две большие карты — одна Северного Кавказа, другая — Европейской России. В углу стояла полка, заваленная книгами и журналами.

У капитана было открытое, интеллигентное лицо; одет он был в щегольской, как у всех немецких офицеров, мундир. На левой стороне его красовался железный крест.

Встретили он меня приветливо, как будто я был его старый знакомый. Он знал, что мне нужно, и о работе ничего не говорил. Его интересовала жизнь в Советском Союзе, театры, музыка, спорт, красивые города, вроде Ленинграда. Мы беседовали очень мирно, я говорил с увлечением, зная, что никто не может привлечь меня к ответственности за правду о нашей прошлой жизни.

Неожиданно разговор наш прервался и в комнату вошел генерал К. — комендант города. Капитан встал, вытянулся и застыл на месте. Я тоже встал.

— Продолжайте, пожалуйста, — обратился генерал ко мне, поздоровавшись. — Дверь в мою комнату была открыта и я слушал вас с интересом.

Генерал сделал жест, чтобы мы сели и сам устроился около стола. Он был высок, строен по-военному, немножко

полноват, с румяным и добродушным лицом. В своем генеральском мундире, с золотыми плетеными погонами и красиво расшитым воротником, он выглядел импозантно. На правой стороне мундира был у него серебряный орел, с распростертыми крыльями и свастикой, а на шее висел черный, рыцарский крест, с белой каймой.

Нам принесли кофе, булки и бутерброды. Капитан подвинул мне чашку. Я боялся, что мое голодное лицо подведет меня. Я медленно отодвинул кофе и сказал, стараясь чтобы мой голос не дрогнул:

— Спасибо, но право же я сейчас пойду демой. Жена меня ждет к обеду.

Мысленно, я проклинал себя. Мне казалось, что капитан понял меня, но как воспитанный человек, не подал и виду.

Мы поговорили еще немного. Генерал встал, поблагодарил меня, попрощался и ушел.

Капитан протянул мне написанное на бланке удостоверение личности.

— С этим удостоверением вы можете ходить по улицам во всякое время дня и ночи.

Я встал и поблагодарил.

— А как же с работой?

— Приходите в пятницу на следующей неделе. Сейчас у меня ничего нет.

14

Как-то поздно вечером, раздался стук в дверь нашей квартиры, запертой на железный засов. В городе было военное положение и после семи часов вечера нельзя было ходить по улицам. Кто мог прийти к нам в такое неурочное время? — Мама, Ирочка и соседка по квартире были взволнованы: — все могло случиться! Может быть это были «коммунист-мстители», пришедшие ночью для расправы с контрреволюционерами?

— Дойтшер офицер, — сказал кто-то тихо за дверью. Дамы вздохнули с облегчением. Я открыл дверь. По нашим встревоженным лицам, офицер понял, что мы испугались: ему хотелось загладить свою вину.

— Мне нужна комната, у меня есть ордер от комендату-

ры, — проговорил он смущенным голосом, как будто хотел извиниться за свое непрошеное вторжение.

Он был одет в новенькую форму, на руках замшевые перчатки, рядом он поставил кожаный, изящный чемодан. Наши дамы рассматривали его с довольно бесцермонным любопытством: это был, действительно, живой человек, сошедший с экрана кино, показывавшего заграничный фильм.

Мы могли предоставить пришедшему только крошечную комнатку: там, на продавленном диване, он мог бы спать. Лишней кровати у нас не было.

— Если это вас устроит, пожалуйста.

Так познакомились мы с немецким офицером, пришедшим из другого, неизвестного мира.

15

Перед Биржей Труда собралась толпа, глазевшая на новые, только что вывешенные плакаты, с призывом ехать на работу в Германию: немецкому правительству нужна была рабочая сила, инженеры и специалисты разного рода. На фотографиях были изображены: небольшой завод, расположенный в живописной, гористой местности, электрические агрегаты, управляемые одним человеком и рабочие поселки, с небольшими и уютными домиками. Все выглядело красиво и, казалось, что и жизнь там должна быть хороша.

Бесконечная очередь тянулась к двери Биржи Труда. Здесь были мужчины, женщины, девушки и совсем «зеленая молодежь». Лица у всех были радостные, можно было думать, что каждый хотел уехать в Германию, в ту «заграницу», которая была запретным плодом за все время существования советской власти. И вот сейчас, каким-то чудом можно было осуществить эту несбыточную мечту.

Я подошел к человеку, одетому в старенький, перелицованный костюм. Вероятно, это был инженер.

— Поеду в Германию, страна передовая, индустриальная, — говорил он с воодушевлением, — посмотрю на настоящую, европейскую технику! Там будет чему поучиться! А что у нас? Стыдно сказать! Пользуемся машинами, которые на западе давно выброшены на слом!

Несколько простых девушек, вероятно работницы, одетые в лучшие платья, оживленно беседовали между собою:

— Ну, чем я рискую! Мне все равно, где работать — на заводе или в деревне. Поработаю с годик, может быть война кончится, поеду домой. Хоть раз в жизни посмотрю, как живут иностранцы! Да и харчи, наверное, будут лучше, чем у нас.

Были и совсем пожилые. Трудно было понять, что тянуло их, в немолодом уже возрасте, на это рискованное путешествие. У них были свои сомнения:

— А если забракуют по возрасту? Что делать тогда?

Люди, стоявшие в очереди и жаждавшие попасть в чужие края были полны радостных надежд.

16

Немцы занимали Ростов уже в течение нескольких месяцев. Их армия вышла к Черному морю, овладев Новороссийском; на Кавказе пал Нальчик и на вершине Эльбруса было водружено немецкое знамя со свастикой.

Никаких особых событий в городе не было. Много людей нашли работу в немецких или городских учреждениях, разросшихся как грибы, после дождя.

Я ходил один или два раза в неделю к капитану Ш., в комендатуру, и только изредка получал для перевода какой-нибудь циркуляр или распоряжение.

Нашего жильца мы видели по вечерам. Домой он приходил спать, весь же день проводил за работой в отделении немецкого Генерального Штаба. Иногда он уделял нам из своего скромного пайка кусочек колбасы или сыра, конечно, в строго микроскопических дозах. Бывало, очень редко, правда, что он обедал у нас: мы могли угощать его супом, сваренным из овощей и картофеля.

Наш жилец был скромный и тихий человек, избегавший касаться в разговорах каких-либо политических вопросов. На наши просьбы сообщить, хоть что-нибудь о судьбе России после войны, мы получали всегда стереотипные ответы, что он солдат, а солдаты в политику не вмешиваются. Он не любил говорить о политике и, обычно, всегда переходил на другие темы. Служа в Генеральном Штабе и зная обстановку на фронте, он успокаивал нас и уверял, что большевики никогда больше не возвратятся в Ростов.

У нас не было оснований не верить ему, но нам казалось, что за последнее время, он что-то от нас скрывал.

17

Капитан Ш. протянул мне небольшой листок бумаги, на котором было напечатано на машинке всего несколько слов.

— Что здесь написано? Переведите, пожалуйста, — попросил он. — Мне эти бумажки только что принесли из полиции.

Я взял почти прозрачный листок, оттиснутый, очевидно, во многих экземплярах, с неясными и бледными буквами. Разобрать содержание не представляло труда. Стараясь дословно придерживаться текста, я медленно переводил:

«Бей фашистских гадов! — гласила прокламация. — Наша доблестная армия наносит сокрушительные удары по немецким захватчикам! Скоро Ростов будет наш! Смерть фашизму! Да здравствует великий Сталин!»

Меня заинтересовало, где были обнаружены эти прокламации?

— Они были расклеены на стенах домов, — холодно ответил капитан Ш. — Еще рано утром полиция заметила их, сорвала листки и принесла сюда. Вот они все!

Он выдвинул ящик письменного стола и вынул небольшую пачку, аккуратно сложенных бумажек.

— Правда, — добавил капитан, как бы мимоходом, — один экземпляр принесла мне старая женщина, сорвавшая его со стены своего дома. Она заявила на плохом немецком языке, что «эту мерзость, я даже читать не хочу!» — И лицо капитана Ш. расплылось в широкой улыбке.

Через несколько дней мне пришлось снова побывать в комендатуре. Капитан Ш., прощаясь, сказал мне:

— Прокламации помните? Гестапо раскрыло эту историю и арестовало всех виновных.

Я подумал, что сейчас, вероятно, они были уже расстреляны. Убийство человека — всегда было мне отвратительно. Но в этом случае, у меня не было жалости. Я знал, что эти «подпольщики» были ничем иным, как отборными кадрами НКВД; что каждый из них, за свою «беспорочную службу» замучил и погубил сотни невинных людей. Может быть это было возмездие — ведь пролитая кровь вопиет к небу!...

Я всегда думал, что «чистка аппарата» была специфическим и чисто советским явлением. Однако, я ошибся. Сегодня, по поручению капитана Ш., я должен был принять участие в комиссии, проверявшей политическую благонадежность полицейских в одном из отделений городской полиции.

Мне был знаком порядок советских чисток. Обычно, они проходили на общих собраниях, при чем, каждому было дано право задавать вопросы и выступать — за или против — проверяемой персоны.

Я пришел к назначенному часу и поднялся в комнату, где за большим столом сидело уже несколько человек: представители главного бургоминистерства и полиции, вместе с районным бургомистром.

Теперешняя проверка была мало похожа на советскую: общие собрания были не нужны, так же как и мнения сослуживцев, представителей так называемой «общественности». Первенствующую роль, мне кажется, играл психологический фактор: реакция человека на задаваемые ему вопросы.

Полицейские вызывались в кабинет в порядке списка, а затем начинался перекрестный допрос. Обычно спрашивали: был ли членом партии или комсомола, имел ли родственников среди партийцев, был ли репрессирован или раскулачен, кто были отец, мать, братья, подвергались ли они преследованиям, где служил, в какой должности, почему пошел на работу к немцам, в частности, в полицию? И, наконец, отношение к коммунизму?

Новопеченные полицейские, репрессированные в прошлом, отвечали на вопросы свободно и я бы сказал, сознательно становились в ряды «изменников родины», не желая дольше жить так, как они жили. Активисты и «беспартийные большевики» давали противоречивые ответы, смущались, когда их уличали во лжи. Были и такие, которые не имели «никаких суждений о природе советской власти» и хотели работать, лишь бы получать деньги и пайки.

Я просидел около трех часов. За все время удалось обнаружить весьма мало «подозрительных». Мне было трудно судить, насколько правилен был этот психологический метод.

Проходя по коридору комендатуры, я услышал из-за двери голос женщины, бившейся, как в истерике:

— Я не еврейка! Я не еврейка!

С неприятным чувством я вошел в кабинет капитана Ш., шагавшего по комнате из угла в угол. По лицу его можно было судить, что он расстроен.

— У меня к вам просьба, — начал он сразу, стараясь быть спокойным, — в нашей приемной, сидит арестованная женщина. Ее задержал на улице, около самой комендатуры, один из наших работников. Он утверждает, что она еврейка и требует отправки ее в Гестапо. По-немецки она не говорит. Мне бы хотелось предварительно выяснить, насколько все это верно. — Помолчав немного, он сказал с плохо-скрываемым раздражением:

— Вы понимаете, что такие дела не входят в нашу компетенцию!

Я хотел отвертеться от этого щекотливого и, по-моему, чисто полицейского дела. Я всегда питал отвращение к деятельности всякой полиции. Я категорически отказался, но капитан настаивал и просил:

— Она же ваша ростовчанка! Я думаю, что вы это сделаете лучше, чем кто-нибудь из нас!

У окна сидела совершенно незнакомая мне женщина. Ее трясло, как в лихорадке. Заметив меня, она вскочила и начала кричать:

— Я никогда не была еврейкой! Поймите же! Хотите я сейчас прочту молитву! — И она начала: «Отче Наш, иже еси на небесах! Да святится Имя Твое...»

Я мягко остановил ее.

— Я армянка! Армяне похожи на евреев! — Лицо у нее было измученное, страдальческое, опухшее от непрерывных слез. Вдруг она проговорила тихим, обреченным голосом:

— И за что только мой муж пропал, в кошмарном 37-ом году...

Затем, она назвала мне свою, хорошо известную в Ростове, армянскую фамилию.

Я почувствовал, как удар обуха. Будто молния ударила в меня и осветила страничку прошлых, страшных лет — тюрь-

мы, допросов, надругательства... В нашу камеру, в подвале Ростовского ДПЗ (дома предварительного заключения) НКВД, втокнули растерянного, близорукого человека, ослепшего без очков, одной рукой поддерживающего падающие брюки со срезанными пуговицами, а другою держащего небольшой сверток с вещами. На следующую ночь, его вызвали на допрос. Вернулся он утром, с синяком под глазом. В продолжение двух недель он не разговаривал с нами, отказывался от «банды» и каждую ночь проводил у следователя.

Наконец, наступил день, когда он заговорил:

— Да, только в НКВД все узнаешь. Когда я начал писать о своей шпионской деятельности, следователь перечеркнул красным карандашом мои показания и сказал:

— Ты гнилой интеллигент! Понимаешь? Ну, кто тебе поверит, что ты был французским шпионом?

Я не хотел говорить этой женщине, находившейся сейчас в невменяемом состоянии, о судьбе ее мужа: да и что могло бы измениться от этого? Капитану Ш. я рассказал обо всем. Через десять минут, обезумевшая женщина, была на свободе.

— А вы не хотели помочь мне? — с упреком сказал капитан Ш.

20

Надо было улаживать дело с пайками для своей семьи. Я пошел в главное бургоминистерство, помещавшееся на Большом проспекте, в прекрасном двухэтажном особняке. Множество комнат были заполнены служащими, сидевшими за столами или шнырявшими по коридорам с деловым видом. Громкая комната была отведена для переводчиков. Неизвестно откуда появились машинки с немецким шрифтом, за которыми сидели, большей частью, солидные, седые дамы, с важным видом печатавшие циркуляры и распоряжения. На стенах прострели надписи на немецком языке, со стрелками, указывающими, как пройти в тот или иной отдел.

Я направился в секретариат — большую и светлую комнату, где за столами с телефонами, сидели две молодые девушки — личные секретарши обербургомистра и его заместителя. Здесь толпился народ — это были просители, пришедшие сюда, чтобы найти правду у только что организованной, новой власти. Мне бросился в глаза седой, сторбленный

старичек, лет под восемьдесят, одетый в блестящую форму офицера царского времени. Трудно было понять, как удалось ему сохранить в течение долгих лет советской власти это контрреволюционное одеяние? Он пришел к обер-бургомистру во всех своих регалиях и растерявшаяся секретарша, никогда в своей жизни не видавшая подобного великолепия, — пропустила его, под одобрительный шопот посетителей, без очереди, прямо в кабинет нового хозяина города.

Мне удалось быстро уладить свое дело с заместителем обер-бургомистра. На его большом письменном столе лежали — мне это сразу бросилось в глаза — какие-то списки, с бесконечными перечнями фамилий, которые он, разговаривая со мною, неторопливо перелистывал и подписывал. Он заметил мой недоуменный взгляд и сказал:

— Не удивляйтесь! Никакого секрета здесь нет. Это списки бойцов армии генерала Качалова, не хотевших воевать за Сталина и сдавшихся в плен немцам. Они сидят сейчас в лагерях для военнопленных. По этим спискам, подписанным мною или обер-бургомистром — немецкая комендатура выпускает их на волю.

Я не верил своим глазам.

— Конечно, — продолжал заместитель обер-бургомистра — мы ручаемся, что среди отпускаемых людей нет коммунистов. В этом есть риск, но что ж делать? Вы понимаете, что сейчас мы не в состоянии устроить какую-нибудь основательную проверку. Нельзя допустить чтобы тысячи невинных людей гибли из-за нескольких десятков мерзавцев!

Мне было непонятно, как могли согласиться на это немцы? Однако, это было так!

21

Мой старый приятель — доктор М., заведывал Отделом Здравоохранения главного бургоминистерства. Мне приходилось, иногда, бывать у него по разным поручениям. Доктор М. был пресимпатичнейшей личностью. Добрый, отзывчивый, скромный, бескорыстный, как многие наши доктора, он любил повеселиться и, конечно, выпить. Когда он бывал навеселе — он всегда напевал: «Эх, вы пташки, канашки мои...» Я сидел в кабинете его — приема не было — и мы мирно беседовали.

— Черт знает что! — как-то внезапно сказал доктор,

очевидно вспомнив что-то не совсем приятное. — А знаете вы, что немцы открыли в Ростове публичный дом?

Я не знал. Но я понимал, что немцы были хозяевами в городе и могли делать все, что хотели.

— Ну, а как туда попадают женщины? — спросил я довольно наивно.

— Как? — переспросил доктор. — Да очень просто. В этом деле соблюдается принцип полной добровольности. И знаете, что удивительно: предложения превышают спрос!

Я непонимающе смотрел на доктора и не верил ему.

— Не верите, вижу по вашим глазам. Сейчас поймете! — Он приподнялся и глядя на меня в упор, сказал мрачно: — А что делать женщине, если ее мужа забрали в армию, а у нее двое или трое детей, да в придачу престарелые родители? Работу найти невозможно, а хлеба нет!? Прикажете всем подыхать с голоду?

Он помолчал немного, а затем сказал, как будто по секрету:

— Там все такие, несчастные. Разве можно осуждать их за это?

Воцарилось молчание.

— Условия в этом публичном доме, — снова начал он, — извините за слово, выражающее не совсем то, что я хочу сказать — «приличные». Каждая девушка имеет отдельную светлую комнату с мебелью, каждая обеспечена одеждой, бельем, обувью, получает хороший паек и жалованье. Одна из них, только что была у меня. Не обижают тебя?, — спросил я. — Нет, — ответила, — всё хорошо. Семья довольна — все сыты и обуты. Только нет у меня жизни дальше... — Так и сказала. Вы знаете, ведь, что русская женщина всегда готова пожертвовать собой! Это еще исстари...

Доктор замолчал, мне было не по себе.

— Ну, а бывают заболевания? — спросил я, чтобы как-то нарушить молчание.

— Нет, — ответил доктор. — Шансов на заболевания почти нет. Там есть дежурный врач, который осматривает каждый раз и посетителя, и девушку. Конечно, все это страшная мерзость! Но, что поделаешь — сейчас мы побежденная сторона.

Он помолчал немного, затем сказал:

— А некоторые девицы — есть и такие! — довольны своей судьбой, и — доктор развел руки. — Одна из них говорит мне: «Нашла себе постоянного кавалера: он такой хороший, ходил хлопотать за меня и добился, чтобы я приняла только его одного...»

22

В Ростове стала выходить на русском языке небольшая газета. Была она, конечно, про-немецкая, и не могла быть другой. В первом номере, поверх текста, были напечатаны жирным шрифтом слова из манифеста императора Александра 2-го: «Осени себя крестным знаменем, православный народ...» Читая это, люди вздыхали и верили, что с советской властью покончено навсегда. В газете не было программных статей, но она была резко антикоммунистической. В ней появился, забытый при советской власти, отдел происшествий, не плохо была представлена хроника местной жизни. Конечно, это был скорее листок, чем настоящая газета.

К нам приезжали старые русские эмигранты — «бело-бандиты», как называла их советская печать. С этими «бело-бандитами» мы очень быстро сошлись, подружились. От них мне впервые удалось получить несколько номеров русской газеты «Новое Слово», издававшейся В. Деспотули в Берлине. Конечно, и здесь были обязательные восхваления Гитлера. Но для нас это было чем-то второстепенным и не важным — ведь, то же было и в советских газетах, в отношении Сталина. Нас интересовал исключительно русский вопрос и борьба с большевизмом.

Берлинские газеты производили на нас огромное впечатление. В них были блестящие статьи квалифицированных журналистов, прекрасно осведомленных о положении дел в Советском Союзе, беспощадно разоблачавших сущность большевизма. Много статей были написаны бывшими советскими людьми, сидевшими в НКВД, побывавшими в ссылке и досконально знавшими оборотную сторону советской действительности. Теперь никто не мог заткнуть им рты. Они считали своим долгом высказать ту правду о большевиках, свидетелями которой были. Статьи были проникнуты фанатичной верой в неизбежную гибель советской власти, при чем разгром большевизма должен был совпасть с окончанием мировой вой-

ны. Кто победит — Германия или союзники — для нас не играло роли. Важен был только один факт: Коммунистическая диктатура должна быть уничтожена! Этих газет ждали с нетерпением и получение их было праздником.

23

Не хотелось выходить из дому. На улице было холодно, тяжелые облака, предвещавшие грозу или снегопад, нависли над городом. В воздухе чувствовалось приближение зимы. Невольно думалось — как проживем ее?

У нас было много забот: надо было вставить стекла в разбитые окна, заклеенные газетной бумагой, поставить печку, чтобы не замерзнуть зимою, раздобыть угля и, наконец, достать дров для растопки.

Мы привыкли к оптимистическим информацииам нашего жильца. Но сейчас он молчал, не говорил больше об успехах немецкого оружия, о занятии новых городов, о разгроме той или иной советской армии. Приходил ночью, уходил на работу рано, не выпив даже чашки чаю.

Город был полон слухами о трагическом положении немецкой армии, находившейся под Сталинградом. Попытки узнать что-либо у нашего жильца или капитана Ш. в комендатуре — были безуспешны. Вероятно, это была военная тайна. Слухи действовали на нас угнетающе. Беспокойство росло изо дня в день. А что, если это правда? Только сейчас, впервые, перед нами встал вопрос о нашей будущей судьбе.

Вчера, рано утром, я пошел на базар. Проходя мимо здания главного бургоминистерства, увидел толпу на улице. Посреди нее была девушка, кричавшая охрипшим голосом:

— Давай, давай, скорее! Что рты пораскрывали! А ну, пошли...

Озябшие люди с недовольными и злыми лицами, покорно тронулись за своим энергичным командиром. Начиналась, как и в советское время, старая песенка — надо было снова идти за город и копать не нужные, не имеющие никакого стратегического значения — оборонные рвы.

Наша небольшая квартирка была празднично убрана. Удалось, правда, с большим трудом, привести ее в полный порядок: вставить окна, сложить новую, крошечную, кирпичную печку и побелить стены.

24

На улицах выпал глубокий снег: стоял, небывалый для наших мест, мороз. Стекла окон были изукрашены искрящимися узорами, но у нас было тепло и уютно.

Сегодня, казалось, что кровопролитная война далеко отошла от нас, что улицы нашего города не были завалены разрушенными домами, что не было несчастных семей, где кто-нибудь да погиб, пропал без вести или просто был отрезан мертвой полосой, разделявшей фронт.

К десяти часам стали собираться гости. Пришла семейная пара — наши соседи по квартире, один мой бывший сослуживец, с которым я работал еще при советской власти, наконец, наш жилец — немецкий офицер и два его сотоварища по генеральному штабу: один полковник, другой капитан.

Угощение, которое состряпали мама и Ира, было очень скромное: винегрет — наше традиционное блюдо, какая-то полусъедобная закуска и торт из бураков. Немцы принесли бутылку довольно приличного вина и несколько бутербродов с сыром.

В 11 часов мы зажгли елку и, не совсем стройно, спели старинную рождественскую песнь — «Штилле Нахт». Немцы растрогались, кое-кто вытирал влажные глаза. Вспомнили, очевидно, далекую родину и этот памятный день, когда их семьи были вместе.

В этот вечер я много играл: клавиши легко повиновались моим пальцам и наше старенькое пианино, давно пережившее свою долгую жизнь, казалось, допевало последнюю лебединую песнь.

Уходил старый 1942-ой, перевернувший уклад всей нашей жизни, и наступал новый 1943 год, полный неизвестности и тревожных опасений.

Мы не хотели, ради праздника, предаваться печальным мыслям. Немцы развлекали нас, как умели: они дурачились, несмотря на свои солидные чины. Наш жилец декламировал одно и то же стихотворение на различных немецких диалектах. Мы много смеялись, но смех был деланный, не натуральный: в глубине души не было спокойствия.

Разошлись поздно: печка потухала и становилось холодно. Тогда не было у нас и мысли, что скоро, очень скоро мы навсегда покинем Ростов, а затем и Россию.

Ночью выпал глубокий снег, скрывший, под белой пеленою, безобразие разрушенного города. Улицы были запружены немецкими машинами, потерявшими свой нарядный вид, который они имели во время победоносного вступления в Ростов. Сейчас они были грязны, наспех отремонтированы и помяты. Солдаты, не привыкшие к суровой зиме, сидели, накупившись, с мрачными лицами.

Перед нами проходила — в прошлом — блестящая «Кавказская армия», поспешно покидавшая величественные горы, покрытые вечными снегами, крутые ущелья, лесистые долины и гостеприимные города солнечного Кавказа. В своем стремительном, обратном движении — она поредела: не видно было сейчас ее моторизованной пехоты и прекрасно экипированных альпийских частей с экзотическими ишаками. Чувствовалось приближение катастрофы, о причинах которой никто не знал и не догадывался.

Немецкие сводки были туманны: неизвестно, что творилось под Сталинградом, какие города были оставлены на Кавказе, каково положение под Москвой и Ленинградом? Сообщалось только о героической защите Кубанского передового укрепления.

В жизни города никаких видимых перемен не было: он жил своею прежней, тихой жизнью. Одно было только ново — появился страх. Подобно какой-то зловещей эпидемии, он широкой волной разливался по улицам города, проникал сквозь каменные стены домов в сердца встревоженных горожан.

Наш жилец-офицер пришел домой поздно. Не говоря ни слова, он сосредоточенно упаковывал свой чемодан. Наконец, он сказал, стараясь не выдать своего волнения:

— Завтра в 6 утра мы уезжаем. — Лицо у него было виноватое, будто он сделал нам какую-то неприятность.

Для нас было совершенно ясно, что в ближайшее время немцы покинут Ростов.

(Окончание следует)

Н. Туров

КРЫМ

ВОСПОМИНАНИЯ

В Симферополе представители университета встретили нас радушно и помогли устроиться на первое время. Обстановка смены власти была нервная. После ухода немцев и турок образовалось местное краевое правительство под председательством известного крымского общественного деятеля винодела С. С. Крыма, караима, очень почтенного и толкового человека. Тогда все успокоилось (тогда то Симферопольский университет и стал самостоятельным и назван был Таврическим). Мы довольно быстро освоились с новой для нас жизнью. Мы раньше полюбили Пермь и могучую северную природу, но теперь постепенно оценили и чары юга. Участвовать в создании нового университета была увлекательная работа. Симферополь был симпатичный город и в нем мы нашли много милых и интересных людей. В Перми я участвовал в тамошней ученой архивной комиссии, но не очень активно. В Таврической ученой архивной комиссии я принял деятельное участие и подружился с ее председателем Арсением Ивановичем Маркевичем, глубоким знатоком истории Крыма и очаровательным и интересным человеком (много старше меня). Среди профессоров Таврического университета оказалось двое моих коллег по Перми — Б. Д. Греков и А. И. Кадлубовский. Как и в Перми, Греков читал древнюю русскую историю, а я — новую. С Кадлубовским приехали в Симферополь две его дочери-близнецы Оля и Наташа (Кадлубовский был вдовец). Из новых для меня лиц был талантливый Гудзий (он читал новую русскую литературу, а Кадлубовский — древнюю). Историю искусства читал Айналов, политическую экономию — Георгиевский (из Петербурга). Классический греческий язык — А. Н. Деревницкий (кажется бывший попечитель Одесского учебного округа) превосходный знаток и новогреческого языка, сельскохозяйственные науки — Иван Вячеславович Якушкин, младший брат экономиста Николая Вячеславовича, с которым я дружил